



От автора
бестселлера
«Дом и
его обитатели»

Галина
Щербатова

Нескверные цветы

Annotation

Новая, никогда раньше не издававшаяся повесть Галины Щербаковой «Нескверные цветы» открывает этот сборник. Это история Ромки и Юли из «Вам и не снилось» – спустя полвека. Какими могли бы быть отношения этих поистине шекспировских героев, встретиться они не в пору молодости, а на закате своих дней? Поздняя, последняя любовь – как цветение астры в саду – длится до самых морозов. Но потом приходит лютый холод, и даже эти нескверные цветы умирают.

Грустная и светлая повесть Щербаковой «Нескверные цветы» – предостережение поколениям, живущим «коммунальной» судьбой в нашей стране. Под одной крышей и в одних стенах. Это молитва за оставленных детьми и близкими, но не потерявших страсти сердец стариков.

-
- [Галина Щербакова](#)
 - [Суббота, 26 сентября, утро](#)
 - [Суббота, 26 сентября, день](#)
 - [Воскресенье, 27 сентября, утро](#)
 - [Воскресенье, 27 сентября, полдень](#)
-

Галина Щербакова
Нескверные цветы

Суббота, 26 сентября, утро

Ей снится странный сон. Она плывет по глубокой реке. Ее красивые руки мощно рассекают воду, а подбородок отважно и радостно лежит на воде. Но ей не страшно. Она во сне умеет плавать. Вот в чем вся штука! И еще ее сопровождают рыбы. Фасонистые лещи и мелкая шустрая вобла, брюхатая тарань и мелюзга без имени и фамилии. И все это ей в кайф. Будто рыбы – ее свита. Подбородок гордо выпятился, а рот отфыркивает воду. Она же такая вкусная, эта вода! Прохладная и пахнет травой и землей. И приходит умная мысль, что вода – цимес жизни, не земля и воздух, как говорила бабушка, а именно вода.

Она просыпается с мокрым лицом. Но так ведь не бывает?! Получается, бывает. Ее лицо просто-напросто все в слезах. Она слизывает их со щек, невкусные, теплые и соленистые слезы. Какой там цимес? Глупый сон, и слезы глупые. Но она, проснувшись, плачет не понарошку, а на самом деле. Она плачет – вот в чем хохма – от счастья. Какого, господи, прости?

– Идиотка, – говорит она себе, спустив с кровати бессильные от сна ступни.

Так и сидит она, и плачет, ожидая исполнения непонятной радости, одновременно ее мучает обида, что у жизни усталые обвислые ноги и руки не сильные, а вялые, как выкрученные после стирки полотенца. Радость сна не перешла в жизнь. Более того, она улетучивается с каждой минутой. И она делает усилие и сует ноги в тапки. Большой палец нащупывает в правом уголке. Не камень, не щепку, не скомканный конфетный фантик. Откуда он в ее доме, уголок?

Значит, сон все-таки был к счастью? Иначе когда бы она еще это вспомнила? Как она лежит в высоких неказистых цветах, воздух пахнет паровозом, а в небе высоко-высоко летит распластанная крыльями птица и смотрит на нее сверху, такую мелкую и незначительную на земле. И ей стыдно птичьего глаза, потому что над ней, девочкой, склонился мальчик и целует ее сверху вниз и снизу вверх, и от плеча до плеча. Она не помнила это уже тысячу лет. Дала

зарок сразу после смерти мамы, ведь мама умирала, когда она лежала в траве и та колола ей спину. Но какое это имело значение, если каждый поцелуй снимал боль, а на месте боли возникало счастье? А мама в эту минуту умирала.

И вот все вернулось со сном и этой непонятной рекой, что виделась с балкона перилами моста, которые вычерчивали на небе странный рисунок, похожий на китайский иероглиф.

Нельзя сидеть, так и засидишься, а ей надо встать и размять свои уже немолодые косточки. Она посмотрела на руки, которые во сне разбивали воду, – куда нынешним! И она встает и размахивает руками, и дрыгает вверх коленками, и вертит себя то налево, то направо. Сто лет не делала зарядку. Это все сон. Она и река. И во сне она любит речку и что в воду входила только до трусиков, так и не научившись плавать, так это мама всегда кричала: «Дальше не ходи ни шагу! Слышишь? Там ямы, захлебнешься и не заметишь».

Она умылась и налила себе чашку чая. Сегодня суббота, выходной. Чай можно пить долго, как она любит, вприкуску, ощущая, как плавится сахарок на языке, как смывает его кипяточек, ласково – не сказать.

Сегодня по телевизору хороший фильм «Анкор, еще анкор!». Три раза видела, а всегда смотрит как в первый раз. У нее несколько таких помеченных фильмов. «Небеса обетованные», «Любовник» и «Однажды в Америке». Последний, правда, не повторяют, жаль.

Она моет чашку, ставит в сушку, надо позвонить дочери, хотя та злится, если она чем-то в этот момент занята. Ну, надо подождать, утро у женщины действительно заполошенное. Она идет из кухни в комнату и слышит возню у двери.

Она знает голос своего замка. С утробным звуком взрываемого металла открывает дверь дочь. И каждый раз она думает: сегодня она сломает его к чертовой матери. А поставить новый – это же сколько будет стоить. Внучка ковыряется ключом осторожно, будто боится оцарапать замок изнутри. Тогда она не выдерживает этого беспомощного ковыряния и идет открывать дверь, крича: «Вынь ключ, я уже тут!»

Сегодня врывалась дочь.

– Опять эта сволочь, – начала она с порога, – сказала, что у меня каблук до неприличия сбитые. До неприличия, слышишь? Мол, стыд и срам. А вчера другая сучка, держась за перекладину в трамвае, говорит мне: «Что вы так пальцы растопырили, мадам, перекладина для вас одной?» Ну, посмотри, как так можно растопырить пальцы, чтоб занять всю перекладину?

Она на все жалобы дочери говорит всегда одно и то же: «Сонечка, это все нервы, сейчас на нервах все, и хорошие люди, и плохие. Прости их и не травмируй себя душу».

– Так я и знала... Получу что-то в этом духе. Знаешь, я от твоих поучений злею еще больше. Разве тебе иногда не хочется дать кому-нибудь по башке?

Это вот «дать по башке» – у нее через фразу. Как она не боится слов: они же живые, в них энергия. В конце концов какое-нибудь «дать по башке» взорвется у нее самой под ногами, и это не так глупо, как кажется.

С чем она пришла сегодня? Утро уж больно серое, давит на психику. Тучи развалились на крыше как у себя дома.

– Мне приснилось, что я плыву по реке, – говорит она дочери, – не знаешь, к чему бы это?

– Знаю, – отвечает дочь. – К переменам. Я с этим и пришла.

Лицо у нее какое-то вздорное, значит, что-то случилось. От этого «что-то» у матери сердце стучит, как ужаленное. Но разве ужаленное стучит? Ужаленное морщится, корчится, кривится и тихо помирает. Если собрать все глаголы в кучу, то получается то самое виноватое, робкое и жалкое «Господи, спаси ее и помилуй», которым сопровождается каждый приход Сони. Не виновата она, такая родилась.

Она помнит, как ее принесли на первое кормление: страдающая, уже чем-то обозленная, запеленутая мордаха с кривым ротиком. Нянька, разносившая детей, каждому давала определение.

– Ну, твой не меньше председателя профкома будет, уже сразу видно – и взяточник, и подхалим.

– А твоя тоже далеко пойдет, глаз у нее цепкий, как у кота за мышью.

О Соне она говорила так:

– Очень мы твоей не нравимся, вся аж искривилась от отвращения, соснет она из тебя кровушки за всех противных ей людей сразу. У таких всегда мать в ответе за все.

Откуда она могла знать? Неграмотная нянька с лопатистыми руками и лицом, полным жалости и к тем, у кого младенцы мордахой вышли, и к тем, на кого бы глаза ее, няньки, вообще не смотрели. А они смотрели, сволочи-глаза, и усмотрели на тридцать с лишним лет вперед, до этой вот секунды, как стягивает Соня копеечный плащик и швыряет его на стол как фашиста, а сама дрожит от нетерпения чувств.

– Что случилось? – тихо спрашивает мать, стараясь своим голосом погасить рождающийся в воздухе крик. Вот-вот сейчас, сию минуту...

– Я выхожу замуж, – говорит Соня, но голос ее – вот удивительная вещь – уже не в крике, а, как это ни странно, даже в благости, удовлетворении.

Третий раз в жизни мать слышит это сообщение. И в нем каждый раз надежда, что это уже навсегда. Глаза каждый раз не то что сияют, в них, конечно, огонь, но не тот, что светит, а тот, что как минимум жжется.

– Ты его любишь? – спросила мать.

– О господи, нашла слова. Слава богу, что не тошнит, как от Олега. Знаешь, какая у того последнее время была отрыжка? А ты про любовь. У тебя самой она была?

Она не знала, что сказать. Но ее вдруг неожиданно как бы закачало в высокой траве, а в босоножке кольнул уголек.

– Вот возьми и скажи мне, дуре, – кричит Соня, – она что, на самом деле существует, любовь?

– Замолчи, – тихо сказала мать, удивляясь, чего это ее колотит, будто она на обрыве, и еще одно Сонино слово и она – раз, и с концами вниз головой.

– Закроем тему, – сказала она сухо, – папу я любила. – И добавила, смеясь: – А знаешь, как любил тебя дедушка? Как любил целовать твою попку?

– Фу! – говорит Соня. – Это, по-твоему, любовь, что ли? Та, что любовь?

Это Соня. Это дочь. Она жжется каждую минуту. Природная оборона на всякий случай. Мать никогда от нее не слышала: «Я тебя люблю» – интересно было бы тогда посмотреть в ее глаза.

– Я тебя раньше не беспокоила, пока Варька была маленькая. Но сейчас сообрази! Квартиру ты завещаешь Варьке или нет?

– Но я ведь еще жива!

– А ты просто возьми Варьку к себе сейчас. У нее ноги с дивана свисают, а мы с мужем рядом, рукой подать. А тебе какая-никакая подмога: в магазин сходить, твоим оглодам голубям корм купить. Она у меня без кандибоберов, я ее не баловала почем зря. В общем, я сказала все. Нет, еще одно. Специально для тебя. Он – выкрест. Да я тебе уже на это намекала, – это она уже кричит с площадки.

Ей хочется схватить и удержать дочь и снова спросить, но не про Варьку, про любовь. Типа: «Деточка, ну при чем тут „выкрест“, я ведь про любовь».

Откуда дочери знать, что мать спрашивает себя, спасает собственную боль-радость, что вдруг настигла ее и держит.

Ее же как заклинило, она что-то вспомнила, но ни одно слово – ну, ни одношенькое – не могло это передать. Просто щекочущая трава и уголек в босоножке.

Но Сонька уже ушла. «Я сказала все» – и хлопнула дверь. Как обычно, с полочки над вешалкой свалилась одежная щетка. Она почему-то всегда падает мордой вниз, то бишь щетиной, на половик, о который вытирают ноги. Когда приедет Варька, то ее ноги никогда вытираться не будут. Она ей говорит: «Детка, не тащи в дом грязь». А та отвечает: «Будешь меня называть деткой, стану называть тебя бабкой».

Вот такая девочка приедет и будет жить. Вот к чему был сон. Она стала думать: что же из этого получится? А чего думать – финалочка. Сроду она этого слова не произносила, в голове не держала – финалочка! – и вообще никто так не говорит, но вот у нее сказалось. У Сони нет другого выхода. У Вари длинные ноги и большие ступни. Через метр лягут молодожены и будут ждать, когда заснет молодая кобылка.

Это нормальное решение вопроса – переезд Варьки.

Слава богу, что она жива. У нее все в прошлом, все про все. И оно пошло на нее потоком, прошлое. Она тупо размахивала руками, пытаясь найти в нем счастье, потому как в пятьдесят два его уже не бывает. Вот сон у нее был – река. У нее красивые сильные руки и запах

счастья. Вот во сне оно было, а в жизни... Господи, прости, у меня дочь и внучка, разве это не счастье, и Бог – вот шутник – засмеялся сверху... Что она мелет? Это ржет сосед сверху, а соседка говорит: это он от щекотки.

– Ты его что, щекочешь? – как-то спросила она ее.

– Мы балуемся, – отвечает соседка. И смеется тонко и звонко.

Она старше ее, а сосед весь такой большой и кривой старик. Они, видите ли, балуются. Щекотятся.

Она признается себе честно. Ее выдавливают из квартиры. У нее выхода нет, а у них есть – она. Она – выход. Странная мысль – выход. Значит, ей не положено пространства больше, чем занимает тело. Фу! Она ведь еще не умерла и ее не кладут в гроб, в этот уникальный, замечательный выход для таких вот бабушек. Разве у нее есть право еще рассчитывать на что-то? Прошлое пошло по ней клочками и толчками, и в нем не было подсказки для выхода.

Соня училась неважно. Но что могла ей сказать на это мать? Сама недоучка, но, как бывает в таких случаях, – хочется лучшим образом воплотиться в детях. Но заставить дочь пойти в институт так и не смогла. Та с трудом осилила медучилище. Но работать ей тоже не хотелось. Кричала, что медсестра – это прислуга у врача, а у нее не тот характер, чтобы кому-то там кланяться. Вот и работает в регистратуре: маленький, но злобный начальник над больной очередью. Не одну регистратуру сменила – место-то неважноецкое, зато всегда есть вакансии.

Мать рано стала думать: хоть бы ее кто замуж взял. Вдруг она создана для семьи?

Первым взял электрик с овощной базы, едущий на велосипеде с прищепкой на штанине. «Моветон», – сказала бы ее покойная мама. Она бы такому не доверила вкрутить электрическую лампочку. У мамы были «понятия». Куда они делись в наше время? В доме их, во всяком случае, не осталось.

Муж въехал в дом, можно сказать, прямо на велосипеде. Нажал на тормоз уже в коридоре и прижал велосипед прямо к пальто, висевшим на вешалке.

Но тем не менее он матери понравился. Остроумный, легкий, алиментщик, но попробуй найди теперь другого. Сонька была

счастлива, но от матери это тщательно скрывала, будто боялась, что та утащит за собой ей причитающееся. Это было в ней с детства. Чтоб она поделилась игрушкой там или конфетой... И тут вспомнилась советчица по жизни и по людям – соседка по столу на работе. Она говорила, как рубила: «У каждого свой корень. Не материн, не отцов. Свой. То и вырастет, что в нем замешано. Не всякую траву с корнем вырвешь, а уж характер!..»

«Как еще они уживутся дальше?» – думала мать. Вот тогда твердо решила – разделить безусловно хорошую двухкомнатную квартиру на две однокомнатные. Тогда еще оставались от тетки и мамы колечки там, браслетики, подделка, полунастоящие. Все пошло в дело. Добрала денег у знакомых, слава богу, поделились хорошо. Съезжались две сестры-вдовицы. У каждой была полуторка. Они, конечно, метили на трехкомнатную. Но все-таки слабенький был обменный товар. Так, на проданные колечки и браслетки, на деньги за проданную котиковую шубку, которая осталась от мамы, сладили дело. Разъехались со злой, как сатана, Соней. Не хотелось той размена, мать и изготовит, и уберет, хоть работает с утра до вечера. Все-таки начальница канцелярии в райисполкоме. Канцелярская крыса. Соню не клинило говорить матери это в глаза будто бы в тоне юмора. Хорошо, что у матери хватало ума понять, что, по существу, дочь права. Она действительно канцелярская крыса, не отречешься. И боль у нее была внутри самой себя, что была возможность получить образование, а она спрыгнула с исторического факультета. Ну, вот ответ, с чего бы это ей обижаться на необразованную дочь?

...Вот и разъехались с Соней, а вскоре родилась Варька. После родов женщины полнеют. Она сама после Сони раздалась будь здоров. Села тогда на железную диету, поднимала вытянутые ноги в лежащем положении до головокружения. И еще хороший способ: зацепиться носками за батарею, сидя на табуретке, и свисать назад головой вниз. Такой кошмар. Но себя сохранила.

Сонька ни на какие упражнения не шла. «Я муки тела испытала, пока рожала. На большее не пойду». Потом все прошло, но был у Соньки очень толстый период. На руках младенец, а на тулове оплывший живот, руки-ноги в квадрате. Ну, она и скажи дочери: «Донашивай пока мою шубу кроликовую, она широкая, обхватит тебя без подчеркивания». Соня приняла это нормально, после матери

донашивать не грех. А велосипедист возьми и взвейся, как кострами синие ночи.

– Так отдайте дочери свое новое пальто, если вы мать! А эту молеву кормушку самое время на помойку снести.

А новое пальто у нее тоже было старое. От тетки из Москвы, которая сидела высоко и клевала глубоко. Пальто три или четыре года уже ношенное, голубое-голубое, как свод небесный, на нем воротничок из обрезков норочки, так слегка молью помечен, тут след, там полосочка, но все вместе с коричневыми перчатками смотрелось на ах. И что главное: животастой Соньке оно тоже шло. Тут и сошлись вода и камень, лед и пламень. И то, и другое годилось для дочери, но и матери грезилось голубое, и зятю тоже, а Варьке было по фигу.

В борьбе за пальто она победила, но, так ни разу и не надев в ту зиму, отдала дочери. А зять-велосипедист сказал, что он с детства ненавидит кроликов как некий символ некой противной ему жизни. Не уточнил, какой именно. Поэтому лучше будет, если она снимет шубу с вешалки вообще. Возмутилась она (мысленно): а что ты сделал для моего ребенка, живя в его квартире, чтоб требовать и то, и другое, и третье? Он гордо ответил, тоже мысленно: посмотрите на лежащего в колыбели ребенка. Вот, мол, что он создал! «Большой труд! – съязвила она громко. – А где висит эта колыбель или стоит, неважно. На чьи деньги вбит (мысленно) гвоздь для колыбели? Гвоздь – просто образ. Колыбели теперь стоячие».

И он ответил, что взял девушку за так, потому как очереди за ней не стояло. Сонька рыдала. А когда через пять лет зять уехал на велосипеде, трем женщинам – матери, дочери и уписанной внучке – в голову не могло прийти, что это навсегда. Прищемил штанину булавкой и канул, как будто корова его языком слизала. В багажнике у него были сменные рабочие ботинки и свитер – свитер как раз был хороший, толстый, теплый и мягкий. Соня его носила дома без юбки, он был ей до колен, типа мини-платье. Как-то засквозило, кинулись искать свитер – нету, значит, муж увез. Сволочь такая, знает же, что у жены кашель и ей нужно тепло. Но сволочь исчезла без объяснений и со свитером. И что самое интересное – без следов. Вот был мужик – работал электриком на овощной базе, ездил быстро, смеялся громко, потел сильно – и никаких следов, никаких! На работе сказали, уволился. Оставалась одна зацепка – не снялся с учета в комсомоле. Но

давайте громко сейчас посмеемся над этой зацепкой, тогда тоже уже смеялись, разве что не так громко.

Ни разу не объявился велосипедист, ни копейки не прислал на Варьку, одним словом, был человек – и канул при помощи велосипеда. Хотя безграмотно сказать – канул на велосипеде. Но ведь следов на самом деле не оставил нигде и никому.

И вот теперь Сонька в третий раз идет замуж, идет, извините, за выкреста. Не разведенная с первым, не зарегистрирована со вторым, значит, и этот будет брак не по правилам, будь он проклят.

Нелепое слово «выкрест» мать как-то коробило. Глупое слово. Потому как по нынешним временам смысла в нем ни грамма. Ну, скажи «еврей», что плохого? Евреи – непьющий народ, культурный, вежливый, взял десятку до десятого – день в день вернет. Зачем же она это подчеркнула? Мол, не бойся, мама: не украинец-велосипедист засратый, не этот промежуточный кацап Олег, играющий на баяне... Значит, был в этом слове «выкрест» еще неведомый матери, но ведомый дочери смысл. Может, он любил ее крепко, может, играл не на баяне, а на скрипке, может, само слово с корнем «крест» несло некоторую положительность изначально. И тут она вспомнила, что Соня не раз проговаривалась, что есть у них на работе мужчина, серьезный такой, как папа. А еще однажды спросила: как ты относишься к евреям? Хорошо, ответила мать, даже очень. «А некоторые люди нет». – «Ей-богу, такого не видела и не слышала. Вот, наоборот, знаю: многие еврея ищут: хорошие мужья, хорошие отцы».

Нет, что-то более важное сидит в голове у Сони. Разговор о выкресте – это несерьезно. Выкрест – это навсегда. Это как унесенный теплый свитер, это как сыграть на выходе «Прощай девка, рыжий глаз».

Со вторым мужем, баянистом, Соня прожила четыре года. Этим проклятым незарегистрированным браком. Это ж надо так испохабить приличное слово «гражданин». Соседка-учительница выразилась точно: дозволенная случка без обязательств и ответственности с обеих сторон. Не большого ума учительница, но определение дала точное.

Олег – баянист в клубе. Значит, практически всегда подшофе. Хотя не злой, а уж кастрюлю после каши выскабливал до состояния как новенькая. Простоватый он, конечно, был, но первый тоже вряд ли про коллайдер слышал. Было что-то для матери плебейское в слове

«баянист». Но и велосипедист носил прищепку на штанине. Но она была вежлива с обоими, было бы дочери хорошо. Правда, что такое хорошо для дочери, было непростым вопросом. Однажды она открыто выдала матери: «Хорошо, мама, это когда у тебя мешок денег, остальное все хурда, но у нас с тобой его не было, нет и не будет. Мы бедняки, и грош нам цена».

Она тогда пыталась что-то возразить, что, мол, есть еще ум и здоровье – их за деньги не купишь. «Если скажешь сейчас „любовь“, – сказала Соня, – я тебя стукну. Неужели ты не знаешь, что это самая продажная на свете сука?» – «Нет, – сказала мать, – не знаю». И у нее ни с того, ни с сего прихватило сердце, она даже завалилась набок. Соня быстро сунула ей в рот валидол и сказала противным голосом: «Тема закрыта. Давай лучше попьем бедняцкого чая».

При размене все было отдано Соне. Она долго ходила по комиссионным магазинам, но все было много дороже, чем она могла вообразить. Она несколько лет жила в пустой однокомнатке с раскладушкой посередине.

Опять же случай. Съезжали обеспеченные соседи из соседней трехкомнатной квартиры. Очень смущаясь (редкое по сегодняшним временам явление), выезжающая хозяйка предложила посмотреть мебель, которую они собирались выбросить. Она тогда взяла диван-кровать, который по старости лет мог быть только диваном, а если с грохотом раскрывался, то выпускал такое количество пыли, что ее тут же надо было загонять обратно. Еще был стол с тремя одинаковыми стульями, трюмо с отбитым уголком. Зеркало треснутое не к добру, отбитое тем более. Для ворожбы от зла она навесила в отбитый край иконку Божьей матери и портрет покойного мужа в шапочке и с лыжей на плече, сюжет, безусловно, оптимистический. И еще ей достались книги с этажерки, которую соседка оставила себе. И она чуть не упала. Книги были одна в одну, как те, которые она выбросила сама, когда разменивала свою квартиру. Не в смысле те же самые, а в смысле точно такие же.

Соня уже жила с Олегом, баянистом из клуба, одновременно учителем музшколы. Если сравнить его с велосипедистом, то, по матери, получалась ничья. Первый был юморной, второй по любой просьбе, не корячаясь, играл, как умел. Был момент, когда она

прониклась к нему добрым чувством. Заболела Варька. И она сказала, что возьмет больную к себе. У них наверняка и сквозняк, и не тот догляд за ребенком. Ах, каким восторгом вспыхнули Сонькины глаза! Но тут же стухли. «Туда-сюда возить – не оберешься. Когда ты уже уйдешь на пенсию, и заберешь ее к себе. Она мне столько крови портит. Только не будь балдой, возьми сейчас бюллетень». Так вот Олег сам принес на руках завороченную температурную Варьку и без слов сходил в аптеку и булочную, а уходя, поцеловал девчонку в щечки. «Интересно, мать ее целует или обходится без нежностей?» – подумала она и устыдилась мысли.

Сама же переехала в кухню на топчан, который стоял от угла к батарее и был напрочь скрыт столом и аквариумом. Вечером глаза в глаза она встречалась с рыбами. Три рыбешки кувыркались как хотели, а она боялась пошевелиться на топчане, чтобы не задеть их жилище.

Зачем она вспоминает это, зачем? Чтоб оттянуть разговор о новом Сонином избраннике? Да какое ей дело? Пусть как есть, так и будет. Давайте перешагнем, будто его и не было, через второго мужа-баяниста, а кто там еще помнит мужа-электрика?

– Ну, не торопись, рассказывай, – говорит мать. – Я-то все ждала, что вы распишетесь с Олегом.

– Ты скажешь, как в лужу плюнешь, – уже кричит Соня. – Где мне искать Варькиного отца? Надо купить справку, что он умер, единственный вариант. Может, теперь и купим. Мой при деньгах. Он из евреев-выкрестов, да я уже тебе говорила. Работает у нас в дирекции по коммерческой части. У него три – слышишь, три – Олеговы зарплаты, это как минимум. И никаких предыдущих там жен и детей. Холостяк по убеждению. Но на мне вот он споткнулся.

И Соня засмеялась счастливо и удовлетворенно, а глаза тем не менее оставались злые-злые. Как это у нее получается?

– А жилье у него есть? – спросила мать.

– А жилья у него нет! – снова закричала Соня. – Тебе чтобы все было? И то, и двадцать пятое? Но у меня-то жилье есть. С его возможностями со временем расширимся. Я именно с этим к тебе пришла.

Мать незаметно оглядела свой однокомнатный рай.

При чем тут она, думает мать. Ты живешь в браслеточной квартире, я тоже. Она до ужаса боялась жизни вместе. Сонька могла так укутить, что собаке не снилось. И это по малолетству. Сейчас у нее язычок – куда собаке, хуже серпа точеного. Так зачем она пришла? Заорала про второго мужа, который играл в клубе на баяне. Вот если без него, может, и сложилась бы жизнь раньше. Но то один скандал, то другой, а потом он взял баян и только свистнул на Варькин крик, ушел с латкой на заднице.

«Значит, так, – уточняет без слов мать. – Не она Олега выперла, сам ушел».

– Ты должна, – говорит Соня, – понять простую вещь: Варьке пятнадцать, наш объем ты знаешь... Как я могу при взрослой дочери спать с мужиком? Поэтому готовься, мать, – Варька переедет к тебе. Тут без вариантов.

И она захлопнула дверь.

Голова пошла кругом. Варьке пятнадцать. Не поселит же она ее к рыбам. К ней будут приходиться девчонки – хи-хи, ха-ха. Это значит, ей доживать в кухоньке, шаг в сторону – и уже что-то падает со стенки. Какая-то необъяснимая боль до слез сжала грудь, и ей хотелось крикнуть: «Не хочу, не буду!» Но тут же стало стыдно. Разве имеет она право на свое «не хочу»? Не имеет. Нет, имеет. И уже закружилась голова.

Вот зачем пришла Соня. Она-то решила все. Ах, доча, доча! Бестолочь единственная. Ну, что бы тебе получить специальность и не быть до такой степени зависимой от мужика. И тут же ее охватывает стыд. А она сама? Разве кончила институт? Разве не зацепилась за замужество, навсегда оставшись начальником папок и скрепок? Но попробуй она предложить свою работу Соне – вот уж устроит хай, мало не покажется. Безвыход.

Она вспомнила себя. Как тупо сидела дома, потом тупо устроилась в канцелярию. Папа уже умер, мама крутилась в больнице. Жили, не умирали. Вдвоем им было хорошо. А когда прошло много лет и она разъехалась с Соней, стало хорошо, как когда-то с мамой.

Сменила ободранные в коридоре коляской и велосипедом обои, ходила и гладила руками стены. Казалось, чем не счастье.

Зачем она задала Соне вопрос про любовь? Затем, что спасается от нахлынувшей на нее сто лет забытой, ногами затоптанной радости. Господи, прости, этого не было, потому что не могло быть никогда. В шестнадцать лет не бывает любви. Бывает мара в голове, только дурак это помнит больше минуты. Ее бабушка, когда она задумывалась, газетой махала перед ее глазами и говорила строго: «А ну мне без мара тут, живи живым! Мара, детка, это опасно, чур ее, чур, это привидение, кикимора».

И вот через столько лет она говорит себе: «Чур меня, чур!»

Вспомнились слова старой товарки по обучению смыслов жизни. Она говорила: «Отдельная квартира – счастье, она же и спасение, и выход из положения, и удача. Но бывает и так, что от квартиры, заразы бездушной, случаются такие трагедии, что война по сравнению с этим – ребенок. Чистую правду говорю, не дай бог никому такой опыт».

И зашло у матери сердце так, будто бьется напоследок. Вся жизнь пошла перед глазами, вся такая серая-серая в черную крапинку.

А ведь были основания для хорошей судьбы, были, что там говорить. Она единственная дочь у весьма уважаемых родителей. Папа в исполкоме отвечал за строительство, мама – участковый врач. И квартира приличная, три комнаты, и кухня не на один поворот, и балкон весь в зелени. И все это должно было достаться ей, кому же еще. Но жизнь резко дала по морде. Она уже была в восьмом классе, когда, возвращаясь от подруги темным вечером, увидела папу, прижимающего к забору чужую тетку. Ее как ошпарило. Она прибежала домой, а у мамы на столе ужин, белым полотенечком прикрытый, и сама она, вся такая расслабленная, ходит и бормочет песню. «Зачем тебя я, милый мой, узнала, зачем ты мне ответил на любовь?» И тут ей вспомнился эпизод, пустяк пустяком. Но если вспомнить раскоряченного только что на заборе папу и поющую маму, то как-то все получалось в масть.

Недавно у них в школе был зубной осмотр. Противное, надо сказать, дело и болочее. Она его очень боялась. Мать возьми и скажи: «Я сделаю тебе справку, что у тебя все в порядке». Сказала и пошла к телефону. И дверь за собой прикрыла. И слышно – набирает номер. А она под дверь, не совсем захлопнутую, интересно же.

– Митюш, сделай моей дуре справку, чтоб ее не мучили стоматологи. Да все у нее в порядке, я сама посмотрела...

И она бы ушла, довольная враньем, но дальше пошел текст, что называется, под самый дых: «Да помню я, помню, приду, милый, как обычно. Не бери только кагор, меня от него тошнит, лучше возьми беленькую... Целую, Митюша, я уже вся горю, аж схватывает».

Глупое слово «схватывает», сказала она себе, и голос странный. К кому это она собирается? Ну, было и сплыло, мало ли у девчонок своих забот на очереди, чтобы их раскумекать.

А потом как ни в чем не бывало пришел папа, и мама сняла полотенецко со стола, и папа сказал: «Лапа ты моя». А ей тогда в глаза бросился не до упора застегнутый ремень на папиных штанах.

Но все шло как обычно. Папа где-то задерживался, надушенная мама убежала к подруге, стойкие до ужаса были эти духи «Красная Москва»! Запах дожидался в коридоре маминого возвращения и сливался потом с каким-то другим, принесенным от подруги.

Потом она как-то сразу поняла: они ждут окончания ею школы, чтобы не травмировать ребенка. С понятием были родители. Так и было. Стоило ей окончить школу, как с тайного стащили камуфляжный брезент: они с мамой переехали в двухкомнатку с большой кухней, где обеденный стол, всегда раньше стоявший в разобранном виде под вешалкой, обрел законное место и всегда был покрыт скатертью. У папы квартирка была пожиже, и он всячески подчеркивал «своим девочкам», что исполком лучшее давал ему, но он-то честнее исполкома, он хороший человек. К нему переехала некая тетка, была ли это та, что с забора, она не знала.

А потом папа неожиданно умер. Здоровяк с виду, ломом не убьешь, он был насквозь больной всеми сосудами сразу. Все было пышно. Мама плакала захлеб, а новая жена папы просто кидалась сначала на гроб, потом на могилу, выла как зверь. Рядом тихо сморкалась девочка, явно смущенная всем этим. Кто-то громко сказал: «Не свезло бабе, так не свезло».

Был ли у мамы кто-то, она не знала. Нет, видимо, кто-то все-таки приходил, когда она была в школе, или в кино, или где еще. «Красная Москва» оставляла неизгладимый след посещений. Еще живой, папа сказал, что после восемнадцати помогать, как раньше, уже не будет.

«Посчитайте, девочки, метраж мой и свой и давайте закроем тему». «Пространство суть деньги», – сыронизировала мама.

Мама взяла вторую ставку. Для дочери, которая готовилась поступать на исторический факультет в пединститут, сил было не жалко. Выбор «фака» был не сердечный, а умственный: в техническом математика, тут у нее нули, в медицинском трупы, а у историка никаких тетрадей, никаких лабораторных занятий.

Жизни хотелось нетрудной, такой, какая виделась у родителей.

А потом мама купила новый палас. «Жить надо красиво», – сказала она, расстилая его по полу. Еще мама любила говорить: «Живем порядочно». Слово это дочери не нравилось, был в нем какой-то неведомый ей изъян, вроде бы от хорошего слова «порядок», но одновременно – и жизнь по ряду, одно за другим, скука. А так хотелось всплеска, вспышки, да разве сразу скажешь, что за желание в тебе бормочет. Но «порядочно» – это уж точно тоскливо, как запах «Красной Москвы».

А потом случилась беда. У мамы нашли рак, и несколько поздно. Тогда, по старой памяти отца, ей предложили работу в исполкоме, мол, учиться можно и на заочном, и на вечернем. Как гора с плеч свалилась от этого истфака.

Странное у нее было чувство – противности к себе, что балда, и одновременно радости, что, как говорила бабушка, «склалось». Она вообще часто ее вспоминала. Вот, например, помнила, как соседка, пригнувшись за забором, срывала в мисочку их малину. Когда возникала бабушка, соседка всегда успевала встать и развернуться в другую сторону и кричала бабушке: «Кать, а Кать, глянь, воронье уселось на проводах, и ничего им, сволочам, не бывает, а человек только коснись – и ему уже кранты».

Тогда, маленькая, она стыдилась видеть чужое воровство, но и сочувствовала соседке: у той по пояс росла во дворе кукуруза, и ничегошеньки больше.

– Она ленивая как сатана, – говорила бабушка, – запустила землю, а что с кукурузы возьмешь?

– А что, сатана ленивый? – спрашивала она.

– А кто это точно знает, – отвечала бабушка, – но, полагаю, не работающий.

Почему-то думалось о себе: а какая я?

Мама уже сильно болела, когда тетка пригласила ее в гости в Москву. Та тетка, которая присылала им неожиданные деньги и писала на бланке для слов: «Это вам на баловство».

Маме тогда как раз полегчало, но бросать ее совсем было все равно стыдно, и она сопротивлялась поездке изо всех сил. Но мама встала и начала ходить по комнате.

– Видишь, – говорила она, – мне надо научиться справляться самой, поверь, твоя поездка будет мне на пользу.

Уезжала с болью и страхом за маму. Всем соседкам низко кланялась, чтоб приглядывали.

Поездка в Москву – это совсем особая история, ее надо писать другими чернилами и на другой бумаге. Она долго после воспоминаний о той поездке выпивала по полбутылочки валосердина сразу. После этого она тупела и уже снова ничего не помнила. Это был самый лучший результат. Остается в памяти комната тетки, узкая, как пенал, абсолютно наглый фикус, на котором ей было велено протирать каждый лист – листьев было девятнадцать, и последний уже лежал на потолке. У тетки была теория: в фикусе ее жизнь, а бережение тяжелой кадки с цветком – это ее охранная грамота. Абсолютно нормальная тетка, но на фикусе заклинилась. Перед самым отъездом, последний раз протирая тринадцатую ладонь фикуса, она сказала ему: «А ты мне не отомстишь, если я не полезу наверх, не скажешь тете? Меня сегодня тошнит от печени трески, такая гадость».

Потом она скажет себе: все, что случилось, устроил фикус.

Фикус-фокус-фыкус-факус. Так она, перетирая, называла его листья. Тетка приносила ей билеты в Большой, в Театр Советской Армии, в Третьяковку и в Музей революции. Честно, многовато для одной недели. У нее пухла от впечатлений голова и временами ее тошнило. Особенно – стыдно признаться – от Большого театра. Из Музея революции можно было вышмыгнуть, а из театра как? Дневной спектакль, дети в антракте орали, музыка была тяжелая, черная, она ежилась под ней, как под тяжелым кожухом. Стыдилась этого – ведь это был «Борис Годунов». Скажи кому – срам, да и только. В конце концов она уезжала из Москвы с чувством невероятного облегчения и как бы даже спасения.

В поезде, в тамбуре, к ней стал вязаться парень, а вечером он ее обнял и поцеловал так, что она испытала неведомое чувство и забыла про первое впечатление от великой музыки навсегда. А парня помнила всю ночь. Она сравнивала его с пристающими на танцах мальчишками. Мальчишки отсыхали тут же, а от поцелуя парня сердце сначала прыгало в горле, потом убегало под мышку, потом в солнечное сплетение и загоралось в губах, как пожар. И она вытирала лицо полотенцем, терла губы, но они были совершенно независимы от нее и пылали, как им хотелось.

Потом он просил у нее прощения, сказав, что она «сразила его наповал». Странно, что только сейчас она вспомнила эти слова, которые, казалось, забыла навсегда.

На длинной узловой станции поезд стоял сорок минут. Они вместе вышли в поле, трава и цветы там были по пояс и щекотали ее под юбкой. Самое интересное, что это она повела его в цветы. «Я их сто лет не видела». Оказывается, маленькой она ходила то ли с бабушкой, то ли с дедушкой за город, и там росли такие вот высокие бесшабашные цветы.

– Знаешь, как их зовут? Нескверные цветы. Они же не из города, не из сквера, они лимита, можно сказать, растут как хотят. Не по ряду, не по кругу, вольно.

Она так радостно рассказывала об этом, что стоило им встретиться глазами, в которых отражались цветы, как он обхватил ее всю, и уже через секунду, лежа в траве, они делали то, что, в общем, еще как бы не положено девочке, не закончившей первый курс. Потом они поднялись, но падали снова, едва не опоздав на поезд. И пришлось бежать, и ей в босоножек попал уголек от паровоза, и он встал на колени и вытряхнул его. И поцеловал ей ногу. Она думала, что умрет от этого.

Мама умерла через три дня после ее приезда. Она сказала ей, что видела сон и великую справедливость. Так и сказала: «Справедливость, детка, – это Бог. Он сделал так, что я успела увидеть тебя счастливой».

Покойная мама каким-то удивительным образом была похожа на Крупскую с бюста, стоявшего во дворе их школы. И она не могла сообразить, какое счастье имела в виду мама, говоря о справедливости

и Боге. Неужели она о чем-то догадалась? Это бередило душу и разрывало сердце. Потому что *это* явно принадлежало к тому, что полагалось занести в графу «Я должна это забыть навсегда». Горячие губы, спину на нескверных цветах, уголек в босоножке, как его звали, она уже не помнила. Как он выглядел – тоже. Помнились только ни на что не похожие ощущения. И еще разговор о письмах и встрече. Какие письма? Какие встречи? Это тоже надо забыть.

Мама в гробу была с острым носом и запавшей нижней губой. Верхняя была слегка подкрашена. Зачем? – спросила она. Но ей объяснили, что мертвый тоже должен быть красивым.

«Какое счастье? – возвращалась она к мысли о маминых словах. – Если горе?» Но что тут поделаешь, если сердце щемило по-прежнему сладко и больно одновременно? Она забыла, как зовут некоторых девчонок, которые держали ее под руки на похоронах, забыла лицо мужчины в рамке на комод. Это был отец. Она забыла, что фотку поставила мама уже после его смерти, а она кричала: «Зачем ты его ставишь? Он же предатель!» Она забыла, что у порога дома, неуклюже свернувшись, лежит чей-то выброшенный ковер, и она все время падала на него, хотя давно была приучена его перепрыгивать.

Уже после отъезда тетки после похорон ее прижала к себе соседка-учительница, а она вырвалась, не признав ее. Надо ли повторять, что в погребке ее памяти уже не существовало Москвы, не было никакого парня, не было греха, а значит, не было и стыда. Она забыла, можно сказать, главное, что было в ее жизни на много-много лет, – смерть оказалась сильнее коротенькой любви на нескверных цветах.

Она стала странной. Например, ненавидела оперу, а ночью вскрикивала от паровозных гудков, почему-то ей хотелось уехать навсегда. Но в голову не приходил ни один город, и она лезла в атлас, читала названия городов, но это было так отвратительно скучно.

«Нормально, – говорили люди, – у нее ведь мать рано умерла, отойдет со временем». Иногда у нее возникало острое желание что-то вспомнить, что-то важное, но разве может быть что-то важнее смерти матери? Так и жила.

Ночами во сне высокая трава щекотала ей ноги, и она уже помнила, как зовут эту траву, но вспомнить имя уголька из босоножки так и не смогла. И тут, чтобы не сказать с бухты-барухты, приехал

театр из Харькова. Привезли «Бориса Годунова». Она шла мимо, и ее как кожухом накрыло воспоминание о походе в оперу. Как тяготно была ей музыка, как сдавливала она плечи и затыкала рот. Ей стало неловко за себя, за такую глупую ту девчонку, дурочку с переулочка. Одновременно зажглось где-то внизу живота. С чего бы это? А, это поле нескверных цветов. Она свернула за киоск и оперлась на него спиной, закрыв глаза, и прошлое вошло в нее нежно, капельно, она потрянула головой – перед ней лежала мама и говорила: «Бог не фраер». Что за глупость? Как могла деликатная мама такое сказать? И она пошла быстро и снова наткнулась на афишу «Борис Годунов» и чуть не закричала: «А-а-а».

На работе раздражал запах клея. «Что-то обязательно должно бесить и раздражать. Так устроена жизнь. Привыкнешь. Клей ведь не говно, и ты не барыня». Как верно, подумала она. И не барыня, и не говно. Она очень привязалась к этой мудрой советчице, вот бы все люди открывали друг другу глаза на жизнь.

Тут-то и случился ухажер. Немолодой исполкомовский шофер, плативший алименты на взрослого сына. Но это как-то не напрягало. Денег у нее никогда не было, перебивалась как могла, а могла плохо. Скоро сама поняла – по жизни, по быту она бестолкова. Та же мудрая сотоварка объясняла: у нее есть главное – отдельная квартира. «А сколько бездомных». Шофер-ухажер привез ее домой, и она позвала его в гости. Когда он ее, опьяневшую от слабенького вина, повел в кровать, сил сопротивления у нее не было. Было легкое отвращение. Так и сошлись.

– А ты оказалась не целка, – не то спросил, не то сказал он ей сразу.

– Это что ты имеешь в виду? – не поняла она.

То есть слово это она знала, просто забыла, что оно значит.

– Да ладно, это я так. Вот занавеска у тебя на кухне порвана, это важнее.

Она тупо смотрела на него, а он засмеялся весело и даже как бы ласково, как над ребенком.

Вскоре они поженились. Теперь она ездила на работу на машине, на ней же возвращалась обратно, и окна соседей сверкали завистливо и зло: ишь как подфартило сироте.

Мы такой народ, куда денешься. Нам чужое *хорошо* как нож в ребро. Потому как мы великий народ и чувства у нас великие, огромные, можно сказать. На миллион считаем, а не на ребра.

Через два года, слава богу, не сразу, родилась Соня. Декретные деньги кончились зараз. Откусанной алиментами зарплаты мужа явно не хватало. Пришлось прикармливать и соседского младенца за живой продукт – картошку там или лук, а то и квашеную капусту в целлофановом пакете. Пакет мылся и вывешивался сушиться. Ценная по тем временам была вещь.

С мужем жили как бы неплохо. Ну, попивал он, а вы встречали когда-нибудь непьющего шофера? Вот и заткните свой искривленный рот. Работа в исполкоме имела большие преимущества, к примеру: попадание ребенка в ясли без галды и мороки. Так в три месяца вошла Сонька в общественную жизнь. А ведь еще недавно думалось: последнее место на земле – ясли. Не отдам. Моя мама меня не отдавала.

Но жить приходилось, натягивая жилы. Все было дорогим, и все надо было «доставать». Опять же спасибо месту работы, тут были свои преимущества местной власти.

Она как-то спокойно приняла понимание, что, в сущности, не любила мужа. С ним было уверенно, не сказать хорошо, но нормально – точно. Но, как бы сказала покойница мама, солнечное сплетение не схватывало.

Мир стал ухудшаться – это было для нее бесспорно, – зависть, злость, мстительность росли не по годам, а по минутам. Уходили в никуда начитанные мужчины и элегантные дамы, пусть и с «Красной Москвой», типа мамы. Вместо них пришла она, совсем другая.

Но окна соседей по-прежнему бликовали завистью к сироте, которой так повезло.

Соня пошла в школу, училась на «хорошо» с минусом, но ровно, не сбиваясь в сторону. Не случись та авария, когда машина председателя попала под колеса тяжеловоза, он просто раздавил легковушку, той как и не было. Суды-муды, то да се. Похоронили по чести и начальника, и шофера. И денежки ей дали приличные. Она Соне сразу купила на вырост драповое пальто «деми» и шляпку под цвет пальто. Но Соня выкинула шляпку грубо, она любила косынки, теплые и летние, узелком под горлышко.

Мать заметила эту ее простоватость в манере одеваться, говорить, а главное, думать. Она помнила подтянутую, таинственную маму с ее неведомым схватыванием в солнечном, которое теперь она понимала. Хотя черт его знает, может, ей это все приснилось? У нее всегда сны яркие, до боли в глазах.

Сонька росла ребенком болезненным, вредным и требовательным. Но других теперь и не было.

В исполкоме все еще помнили ее отца, «такой был хороший, крепкий мужчина – и на тебе». На праздники она всегда получала матпомощь, что вызывало раздражение у товарок: чем мы хуже?

А хуже тем, что новый начальник исполкома положил на нее глаз и во всем ей покровительствовал. Этого народ никогда и никому не прощал. Тут уж не бралось в расчет, что она одинокая и вдова. «Все мы одинокие и вдовы», – кричала канцелярия, когда она задерживалась у начальника.

А греха, столь видимого всеми, не было. У начальника в малолетстве умерла дочь, и ей было бы столько, сколько ей. И человек-несволочь мог вообразить: а если бы с моей дочерью случилось такое, каково это, молодое вдовство? Вот и вся тайна покровительства, вещи деликатной и, увы, нечастой в наше время. Вот если начальник трахает, это понимает даже сверчок под полом, а если жалеет, то сверчку такое невдомек.

Однажды случилось нечто. Нечто из ряда. Она пошла на могилу матери в день ее рождения, 15 мая. К счастью, появилась первая сирень, не та, что духом рвет тебя пополам, а своей красотой вообще на части, а еще слабенькая, никакая сиренюшка. Но мама так ее любила. Позвала с собой Соньку. «Делать мне не хрена, что ли». Она готовилась к соревнованиям по гимнастике. Единственный ее успех в школе.

Возле могилы мамы стоял старик тоже с веткой слабой сирени. Они впились глазами друг в друга. Ее всю затрясло. Она поняла, что такое «схватывает». Ее схватило сразу за маму, за себя и даже за Соньку. Значит, это было – то непостижимое и великое, то слабое и могучее, то вечное и мгновенное, что называется любовью.

– Вы Маша? – тихо спросил он. – А я Дмитрий Анатольевич.

«Митюша», – прошептала она мамино слово.

– Что вы сказали?

– Да ничего, так. Вы мамин друг?

– Она была для меня всем. Я жду того часа, когда уйду и мы встретимся снова.

– Вы в это верите?

– Деточка, – сказал он, – больше верить не во что. Все, кроме любви, ничтожно и гнусно.

Он подошел, и поцеловал ей руку, и долго смотрел в глаза.

– Вы разные, – сказал он, – но от вас идет мамина настоящность, человечность. Она сейчас исчезает не по дням, а по часам. Помните «Гроздь гнева» Фолкнера?

Еще бы ей не помнить. Коричневая книжка распласталась на чем-то гнусном и мокром, и она сверху для прикрытия бросила «Тихий Дон». «Дон» покрыл «Гроздь гнева», избавив ее от угрызений совести.

Они шли вместе до автобусной остановки, и он все время говорил о маме. О том, какая она была удивительная, как тонко думала и прекрасно пахла. Вот это были лишние слова. «Красная Москва» ударила под дых, смывая все остальное. У них были разные автобусы, и они разъехались.

Она всю дорогу думала о любви, и ей было как-то странно хорошо и даже гордо за маму. Столько лет прошло, а он пришел с сиренью, это же надо.

Ей, живой, никто никогда ничего не приносил. Нет, конечно, приносил. Муж на праздники завозил в исполком кучу букетов, и ей, естественно, доставался лучший. Но именно сейчас букет этот так жалко виделся в сравнении со слабой сиреневой веточкой. Одним словом, букет «не схватывал».

Она так много думала об этом, что дождалась божьей милости. Ей-таки вспомнилась вся *та* история, не чужая, ее. Та самая, которая подразумевалась у других, но давно исключалась у себя по какому-то странному, данному себе самой определению – мне это не дано. Хотелось почему-то плакать.

Соня окончила, как и полагалось, школу на «четыре» с минусом. Засобиралась в институт, тоже на исторический. Как раз приехала тетка помочь племяннице и заговорила ее до обморочного состояния. Она даже склонила голову на подушку, и ей виделись странные вещи:

желто-зеленое поле с торчащими головами репейника и какая-то удивительная ласка, какой она не знала и знать не могла. И она вскидывалась на словах тетки, когда та говорила, что правильно сделала, не выйдя замуж. «Это же глупо – всегда иметь в виду другого и никогда себя самою». Еще тетка гордилась, что после войны получила назначение в Москву – без блата, без всех этих «ты мне – я тебе». И она говорила о Москве восторженно, почти со слезами, как о самом своем большом счастье. «Как она все это помнит? – удивилась племянница. – А я вот ничего о Москве не помню. Какой-то кожих, и все».

– Я в войну в твоём возрасте ходила в мужском полушубке, – будто услышав слово, говорит тетка. – И ничего. Жизнь – счастье. Чего у тебя лицо такое, будто ты хочешь что-то вспомнить?

– Мне нечего вспоминать, – ответила она и вдруг поняла, что врет. Но *что* именно врет, не помнила, хоть застрелись.

Потом она успеет объяснить это тем, что в её жизни приближалось главное, то, что нельзя было сравнить с вялотекущими обстоятельствами, что надвигалось исподволь. «Дурь, – говорила она себе, – это все жухлая сирень меня схватывает».

Мамино слово ударило в солнечное сплетение, а она возьми и столкнись реально нос к носу с немолодым господином, который смотрел на нее и как бы знал, кто она, но был ей абсолютно чужой.

Суббота, 26 сентября, день

Дело было в аптеке, месте небыстром и сосредоточенном.

– Вы не пропустите меня без очереди, я очень тороплюсь, – сказал ей незнакомец. А она только-только достала из сумочки бумажку, где было написано: валосердин, папазол, адельфан и сенаде. Она повернула бумажку к себе, чтоб не заглядывали, и сказала: «Пожалуйста». Очередь заворчала не то чтобы зло, а как бы традиционно, для соблюдения правил. Мы, мол, тут все люди занятые, с работы отпрошенные, не хуже некоторых. Но она сделала шаг в сторону и пропустила просящего.

Никуда этот хитрован не торопился. Оказывается, он ждал ее у входа. Заметив его, она посмотрела на себя взглядом мужчины. Немолодая, уже почти пенсионерка, но если на нее смотреть сбоку и справа, где у нее волос делает симпатичное колечко вокруг уха, а иногда наползает на него, то тогда ей можно дать сорок, не больше. Конечно, бывает стыдно от глупых мыслей, они из разряда тех забубенных типа – «скатерть должна быть на столе всегда», «шляпка сдвинута чуть налево», а «узелок платка под шеей должен быть обязательно под цвет глаз». Это в ней мамина сущность кричит, когда та с неба за ней поглядывает. Но она – где логика? – совершенно произвольно поправляет локон и выходит к нему правой стороной.

– Извините меня, – говорит тот, кому она уступила очередь, – честно, я никуда не тороплюсь, но мне хотелось выйти раньше вас, чтобы подождать.

– Зачем? – растерялась она, утратив ориентацию в пространстве, слева она или справа.

– У меня такое ощущение, что мы учились с вами в одной школе. Да или нет?

– Нет, – сказала она, – я вас совершенно не знаю.

– Ладно, поищем еще. Вы учились в университете?

– О боже! – засмеялась она. – Не тычьте пальцем в небо. Скорее всего, вы приходили в исполком за справкой, и я ее вам выдала.

– Нет, – сказал он ей, – импульс мой давний, юношеский, досправочный.

Но она уже все вспомнила. Но не скажет ему об этом ни за что. Забыл так забыл, значит, того не стоило. Она тоже все забыла сразу после смерти мамы.

Тут он как-то странно изменился в лице, и ей показалось, что он хочет провалиться сквозь землю и рвануть с места так, чтобы никто его не догнал. Но он сам себя остремил, потому как зачем тогда он, дурак, здесь стоял и ждал? В общем, выразительно глупое лицо было у дядечки.

– Вы Маша? – спросил он тонко и хрипло.

Господи, так ее называла только мама и еще бабушка. Имя ушло вместе с ними, оно как бы первым покинуло этот мир. На работе она была Мария Николаевна, для Сониных подружек – тетя Маруся, для соседей – Маня, что раздражало ее особенно. И она даже пообижалась Соньке: «С чего они взяли, что я Маня?» – «А кто ж ты еще, если имя такое многообразное? Не Маша же. Маши – девочки, барышни, они из сказок, Маруси – взрослые женщины, а Мани – это тетки, в основном хамки, твой возраст, через середину жизни». – «Откуда тебе знать мою середину? И при чем тут хамки?» – «От наследственности, все наши ведь поумирали, даже не дожив до шестидесяти, в основном от вредности. Вот и считай».

От вредности? Мама и бабушка ее обожали, были добрыми людьми, никто о них слова дурного не сказал.

– Не зацкливайся, – сказала Соня, – это я от собственной вредности. Но откуда-то она в меня вошла, я же у тебя не детдомовская?

– Брось говорить глупости, за одну единицу времени ты их столько произносишь.

– Молчу, – криво засмеялась Соня. – Идя с прошением, не квакают.

Она ведь тогда пришла брать взаймы, то бишь навсегда. Мать же заклинило на том, что дочь посчитала возраст ее смерти – до шестидесяти действительно не доживали. Ни мама – умерла в тридцать шесть, ни бабушка – в сорок восемь. Ты доживаешь свой срок, старуха.

А тут ее назвали Машей. И не кто-нибудь, он – единственный в ее жизни. А теперь посуди сама. Где оно вернулось к тебе, твое прошлое?

Возле аптеки. Самое то место. Аптека, больница, кладбище. И уже скоро, намекала тогда дочь.

– Мы когда-то давным-давно ехали с вами в одном поезде, – сказала она ему.

– Господи! – закричал он. – Так это все-таки вы?

Вот вам, пожалуйста, подумала она, почти пушкинская ситуация. Она вспомнила последнюю сцену из любимой ею «Метели».

Но как это можно сравнивать – то и это? Стояние на коленях и старого дядьку на трясущихся ногах.

– Вы сейчас будете смеяться, – сказал он, – я искал вас всю жизнь, а мы, оказывается, одной аптекой пользуемся. – Вы замужем?

– Я вдова, – ответила она.

– А я разведенный. Просто классика.

И тут случилось неожиданное: у нее запылал рот, а где-то в глубине под ложечкой схватило. И с этим ничего нельзя было поделаться, гнусное желание трясло ее так, что она испугалась: не инфаркт ли.

– Вы говорите глупости, – сказала она не своим, а каким-то склочным голосом.

– Я вас нашел, что совершенно невероятно, и так просто вы от меня не отцепитесь. Какие наши годы, Машенька?

Он пошел ее провожать, держа под локоток, а ноги у нее стали глупыми, левая вышагивала вправо, а правая влево, и колошматилось внутри неведомое желание, и стыд уже был как срам. Ноги заплетались, локоть был каменным, а он шел слева, с той стороны, с какой она определенно старше и вообще, можно сказать, никакая.

Он же говорил неговоримое. Что это была первая его поездка в поезде самостоятельно (и у нее тоже), что он влюбился в нее с разбегу, она шла в туалет (фу!), вся такая тоненькая, а попа налитая, как яблочко (Господи, заткни ему рот), личико свежее, умытое, а губы...

– На них я и пал... – И он слегка прижал ее локоть. Она же думала, что из своих достоинств, кроме колечка волос за правым ухом, она ценила только ровный нос. Что там ни говори, но нос самый торчащий. И сколько лиц – несчитово – им испорчено. То вниз висает, то вверх торчит, то вперед вылезает ноздри, место на лице просто неприличное. Конечно, глаза – самое главное, зеркало души, но

с ними у нее все было в порядке, нормальные, карие, среднего размера, и бровки для оттеночка имелись.

– С твоим лицом, – говорила мама, – на конкурс не пойдешь, обыкновенное, но второй разряд – твой.

Она тогда обиделась на маму, ей казалось, что матери дочь должна видеться красавицей. У нее была школьная подруга с ноздрями наперевес, так ее мама называла «курносочка моя драгоценная, вырастешь – все мужики твои будут! Потому как шарм». Дома она спросила у матери: «А что такое шарм?»

– Не про нашу честь, – почему-то грустно ответила мама. – Это такой женский манок, внутренний секрет, понимаешь? Вроде ничего в лице нету, а притягивает.

Почему-то стало обидно. Хотя никаких там любовей не виделось и не слышалось. Просто было досадно, что есть нечто невыразимое, которое может победить даже распахнутые ноздри и другую некрасивость.

Вот так она шла и вспоминала маму, а он держал ее за локоть и довел до дома. Вернее, не так. Она дошла до подъезда и остановилась.

– Вот мы и пришли.

– На чашку чая не пригласите?

– Да как вам не стыдно! Мы десять минут как знакомы, вернее, даже еще и не знакомы.

– Я помню ваше имя «Маша» всю жизнь. Или все уже не так, уже нужно отчество? Назовите.

Ей почему-то захотелось заплакать: ну, не дурак ли?

– Все так. Я Машей была, Машей осталась.

– Ну, тогда восстановим порядок вещей. Я Михаил Сорокин, мне пятьдесят пять, одинок, живу на Параллельной, знаете такую? Временами живу с сыном, это когда он загуляет. Я газетчик, моя тема – заводы и фабрики, то, что никто никогда не читает. Я непьющий, вполне здоровый, у меня аллергия на весеннее цветение, такое деликатное заболевание.

– У меня тоже – на пух, – засмеялась она. И вдруг неожиданно для себя добавила: – На основании аллергии мы вполне можем попить чаю.

Так они и вошли в ее дом. С неправильно лежащей на полу клеенкой, с замком, поющим разные мелодии, дом, наполненный мыслями о дочери Соне и внучке Варе.

– Они живут отдельно, – почему-то сказала она, но он как что-то почувствовал, свернул на другое:

– Мама у меня была злоязыкая, она умерла, когда Ельцин выступал на Белом доме, и умерла счастливой со словами: «Так тебе и надо, гнилая партия страны, держись, парень».

– О, моя была совсем другая. Еще живая, она учила меня, как прикрепить крепдешиновый бант ей в гробу при помощи двух маленьких булабочек, чтоб была видна медаль за что-то там.

– Закроем эту гробовую тему, – сказал он. – Чем занимается ваша дочь?

– Сейчас она регистратор в стоматологии, получила безукоризненные зубы. Хочет третий раз замуж. У них теперь все по-другому, чем у нас. Я овдовела десять лет как и сочла это судьбой без вариантов. А как у вас?

– Не так. Я ушел от жены и стал думать о вас.

– Не говорите глупостей. Мало ли что бывает в юности. В зрелости это не имеет никакого значения.

Ну, как ей было объяснить, что эта неуклюжая правда о глупой юности была светом всей его жизни? Жена вздорная и слегка пьющая, отсюда и пристрастие сына. Но он – это абсолютно честно – не пошел бы на разрыв по той простой причине, что ему было все равно, с кем жить. Жена понравилась ему по молодости лет: она хорошо пела, ее звали учиться в консерваторию, но сама мысль «учиться» была ей противна. Она торговала в книжном магазине, ненавидя книги. Перешла в галантерею – ее тошнило от булавок и мотков резинки. В хлебом ей был противен запах подгорелых корок. Винный отдел – оказалось самое то. И вздорная девчонка пристрастилась облизывать треснутые бутылки и ловить мужские взгляды. Она была прехорошенькая, и они поженились. Он ходил за ней после работы в клуб, где шла репетиция. Ее звонкий голос взлетал высоко и красиво и падал прямехонько в сердце. Казалось, что может быть лучше поющего в тебе сердца? И забывалась мелкая домашняя склочность и прикладывание к горлышку, и нечистая возня на кухне, и потасовки, и жалобы в домкомы и соседям, и эти омерзительные «а он ей», «а он

схватил», «а он меня ножом по пальцу – видите, кривой». Прожили двадцать лет. Когда отмечали эту дату, она пила круче всех и даже обделалась при всем честном народе и стала хохотать как ни в чем не бывало, как какая-то одичавшая птица (он забыл ее название). Разошлись. Тоже разменяли привычную двушку на две крохотки-полуторки. Ему, естественно, достался север и первый этаж с видом на помойку. Он же был согласен на все. Сильно поддатый, приходил к нему сын. Он называл это «собрать себя в кучку у бати». Ночью тишины не было. Громко перекликались соседи с балконов, отъезжали и приезжали машины, какой-то неспящий стучал ведром о мусорный бак. Прямо под его окном терлись влюбленные. Он затыкал уши ватой и так и жил в ватной тишине. Однажды он забыл вынуть вату из ушей и вышел выносить ведро. Он не услышал разворачивающейся машины и был прилично ушиблен. Он шел на работу медленно, болело бедро. Утешал себя мыслью, что, будь перелом, он не встал бы на ноги, значит, просто синяк. Но был осторожен и даже пару раз делал передышку. Одну сделал у ателье фотографии. Остановился и обомлел. На него смотрела молодая женщина с рекламного щита. Спокойное лицо, чуть-чуть улыбающийся рот, и он вспомнил его вкус и запах, и запах поезда, и дрожание вагона, которое было в пандан дрожанию тела. Как-то мгновенно сформулировались какие-то юношеские слова о единственно пропущенном счастье в его жизни, и он стоял и смотрел, смотрел и стоял, и забыл про ногу, и мир был ярок, звучен, он пел и танцевал сразу: едущий трамвай и склоненная над ним липа и бликующее стекло щита, которое что-то ему говорило, и тогда его рука стала царапать стекло, чтобы вынуть фотографию и носить ее на груди, пока он не найдет ее хозяйку в плоти и крови. На этом хулиганстве его повязала милиция, и если бывают счастливые милицейские «повязки», то это была она. Его, дурака, отпустили, но после работы он снова подошел к стенду, но тот был закрыт досками.

Откуда людям знать, что можно видеть сквозь доски и слышать с ватными тампонами в ушах, быть уже немолодым, но одновременно им и не быть. Быть парнем, который увидел смысл, содержание и счастье всей своей жизни. Разве знает орел, почему домогается именно этой орлицы, а лев делает фантастические прыжки, чтобы догнать такую же, как все другие – не отличишь, – самку? Но ему, сволочи, не

все равно, когда бери хоть кого не хочу. Ему нужна она, и только. А какой у льва мозг?

Шло время. Он приходил к стенду и пялился на фотографию. Он не мог ошибиться, она всегда жила в этом городе, девочка с фантастическим ртом. И началась глупая арифметика от того поезда до угла его дома, и он стал вспоминать немолодых и некрасивых, какими стали его школьные подруги с отвислыми жадами и тяжелыми подбородками. И он перестал ходить к стенду. Придумал, что это дочь той девчонки, что спускала ноги в тамбуре. Он же не какой-нибудь распутник, чтобы пялиться на малолетку, и не идиот, чтобы гоняться за миражами. Все это блажь, думал он, любовь не вырастает на почве десяти пусть даже оглушительных поцелуев и минуты наслаждения, у нее, у любви, должны быть не просто корни, а массивные клубни, чтобы хватило на всю жизнь. А у него ничего даже похожего не было. Трепетало тело, дрожал вагон, гнулась в руках веточка-девочка.

А потом случилась аптека. И вот они сегодня, сейчас, сидят рядом. И уже нет никаких сомнений, что это она, что ее-таки зовут Маша, что они последнее время ходили в одну булочную. И она сказала ему странное: «Я вас давно заметила». А потом она солгала: «Поезд я, конечно, не помнила, у меня тогда умерла мама, я забыла, как меня зовут, однажды меня домой привела милиция, говорили, что это какая-то особая амнезия, но потом что-то вспомнилось, и я тогда решила, что это я виновата в смерти мамы, что уехала тогда в Москву. Хотела умереть. И все снова забыла».

– В чем же вы виноваты? – чуть не со слезами спросил он.

– В том, что я оказалась порочная, целовалась с незнакомым парнем и не била его ногами. Скажите, – тихо спросила она, – помните траву?

У мужчин все несколько иначе. Он помнил случай, но не помнил траву, и у него не было уголька в босоножке.

Вот тут и стал взламываться замок. С таким звуком приходила Соня.

– Это дочь, – понуро сказала она. – Господи, благодарю тебя, что она не пришла раньше, когда мы близко друг к другу стояли в коридоре.

Соня же вошла в квартиру, как входила всегда, как домой, не стесняясь и сбрасывая туфли во все стороны.

– Ма, ты где? – закричала она из прихожей.

– Заходи, – сказала мать, – мы здесь. Это мой старый знакомый Михаил, мы давно с ним не виделись. А это моя дочь Соня.

– Отчество ваше какое? – засопела Соня. – Мы ведь с вами не погодки.

– Михаил Валентинович, – быстро сказал он, вставая при этом, а мать, а мать испугалась до смерти – она ведь не знала его отчества и фамилию уже забыла. Слава богу, что пришла Соня.

– Мы собирались чай пить, – сказала мать, – будешь с нами?

– Мы с тобой собирались в домоуправление, забыла, что ли? Они сегодня работают.

– Какое домоуправление, зачем?

– Варьку к тебе прописывать. Или у тебя другие планы?

Она ничего не могла вспомнить, ни о какой прописке. Был разговор о новом муже-выкресте, хорошо вроде зарабатывает, а жить нигде. А при чем тут прописка?

– Сегодня не получится, – сказала мать тихо Соне, – в следующий раз. Мы с Мишей много лет не виделись. Нам многое хочется вспомнить, о многом спросить. – Она почему-то перестала бояться гостя (дурь какая!), а испугалась Сони, та просто дышала злом.

Такого Соня не ожидала. Мать всегда велась безропотно, и хоть на самом деле никакой договоренности о домоуправлении у них не было, она знала: мать покорно оденется, обуется и пойдет, куда ее поведут. На ее, Сонино, счастье, у матери нет своего характера. Но эта женщина, что сидела напротив с сияющими глазами, была уже как бы и не мать, а чужая тетка с какими-то своими соображениями, которую, возможно, придется не враз взять.

– Не хочу я вашего чая, – сказала Соня грубо, как всегда, – нет у меня времени на глупости. – Но ты думай, куда поставишь Варькину кровать.

И она хлопнула дверью.

– Скверная девочка, – не то спросил, не то сказал Михаил и, обхватив ее вдруг руками, почти со слезами сказал: – Я не дам тебя в обиду. Что тут у вас случилось?

– Соня в третий раз выходит замуж. У нее полуторка, а Варьке скоро пятнадцать. Помеха, одним словом.

– Вы переедете ко мне, и никаких проблем.

– То есть как я перееду? Я вас вижу второй раз в жизни.

– Пусть разбираются сами, Машенька, вам сколько лет?

– Скоро на пенсию.

– А мне уже больше. Скажите, в вашей жизни вам что-нибудь за так досталось?

– Не знаю. За так или за сяк, но все как-то шло путем. От кого-то что-то доставалось, от мамы, от тетки. Вот сумела даже разменять квартиру. Пришлось брать займы, но уже отдала все до копейки. Слава богу, у меня теперь свое жилье. Я никому ничего не должна. Конечно, внучке там будет неудобно, если дочь выйдет третий раз замуж. Я как подумаю, у меня ум за разум заходит. Бедные мои девочки. В конце концов, другого варианта, кроме меня, у них действительно нет.

– Вы пойдете за меня замуж?

– Да как вам не стыдно, Михаил Валентинович. Вы на меня наскочили, как утюг на пуговицу.

– Давайте без «вы». Солнце еще не зашло, Маша.

И он обнял ее так, как будто в первый раз, как будто они в том поезде. И она прижалась к нему, хотя думала, что это дурно, но что тут поделаешь, ей было хорошо в его руках. Так хорошо, как никогда не было. Хотелось пропасть навсегда в этом удивительном сладком стыде.

И случилось то, что случилось. И было прекрасно, вплоть до единого мгновенного вскрика, он же выдох. Или вдох? Господи, это же не поддается никаким словам, это же играет и царствует сама царица-природа. Это ее смак, ее упоение, ее счастье...

Они сидели, прижавшись друг к другу, и не было слов. Те, что возникали на кончике языка, были или глупые, или бездарные. Два уже весьма и весьма немолодых человека слегка ополоумели от быстроты случившегося, от потрясения расслабленного тела, и надо было что-то делать, потому что все это было прекрасно, но и неестественно тоже, потому что разве так бывает, что она сама помогала ему расстегнуть рубашку, а он, узнав ее в очереди, не сомневался, что заберет ее и уже не отпустит, что в нем вскрикивает тот озорной парень из поезда, в который на ходу влетел ангел, но ангел не простой, а самый

замечательный, хотя откуда они могли знать, какие они вообще, эти ангелы, они их сроду никогда не видели.

И вот теперь та девушка рядом с ним, и как бы не было прошедшего времени, и он убьет любого, кто попробует их разъединить. Ведь это же не что-нибудь *никакое*, это как если бы потерялись две ноги (вот хохма), а потом нашлись, совпали паз в паз, и теперь им бежать вместе – такая радость!

– Машенька, – сказал он, – мы не расстанемся больше никогда. Ты понимаешь, что с нами случилось чудо, что мы встретились?

– Я понимаю, что у меня дочь и внучка, а я, как какая-нибудь слабоумная, прижимаюсь к первому встречному...

– ...Который всю жизнь тебя искал. Я от жены ушел, у нас ничего не получилось – тоска и противность, а с тобой я как в раю. Ты согласна?

– Господи, прости меня. Простят ли девочки?

А потом он склонил голову на спинку дивана и сладко уснул, пока она шелестела в кухне. Странное у нее было чувство – нежности и презрения сразу. Ну, на самом деле, люди, подумайте себе? Вот взял и уснул, как дитя. Но дышал он так тихо и нежно, как она никогда не слышала. Мужчина – это же храп, это слюнной выводок изо рта и горделивое сопение носом, это все звуки врозь и одновременно все сразу. Хочу и свищу, хочу и соплю, хочу и рычу. Мужик я, мужик, а не барышня в шелковых рейтузах.

Она долго и молча слушала тишину этого мужчины, она не знала, что в своем сне он проживал жизнь с нелюбимой женщиной и стал счастлив, когда ее не стало в его жизни. И был в его сне страх, что сон и явь поменяются местами. И он всхлипывает от счастья, одновременно думая о проблемах.

Она же к ним вернулась в кухню. Вот топчан, где ей предстоит жить. Вот пять рыб в аквариуме, одна, нахалка, не только разглядывает ее, но и открывает рот. Вот она приблизилась к стеклу и определенно сказала: «Ты балда». И так вильнула хвостом, будто дала ей по щеке, дура такой.

И она заметалась в себе самой, не зная, что хорошо, а что дурно, что ей не хочется на топчане и с рыбами, а хочется спать с этим мужчиной столько, сколько выделит ей Бог. Но, господи, разве не справедливее все отдать близкому человеку, а не оставлять себе? Она

посмотрела в окно и увидела, как Соня сгружает с машины старую железную кровать.

Почему ее? Ведь это ее, Сонины, детская кровать, которую они выбросили в сарай уже тысячу лет как. Варя после колыбели спала на светленькой тахте по имени «Лада». Первое время ей кульком подкладывали сбоку старенькое байковое одеяло, чтобы она не скатывалась на пол. На «Ладе» она спала до сих пор. При чем же здесь этот железнозеленый дребезжащий ужас Сониного детства? Значит, она съездила в старый, оставшийся еще от родителей гараж, в который свозилось все опостылевшее, лишнее и бросовое. Это какая же энергия преобразования своей жизни! Значит, все решено без нее.

Она вошла в комнату, а он протягивал ей руки.

– Надо срочно уходить, – сказала она, – мне везут металлолом. Выходи быстрее и иди пешком черным ходом, чтобы не столкнуться в лифте.

Он был растерян, почему-то ей подумалось странное слово «обескуражен», оно даже рассмешило ее. И она обняла его и дала номер своего телефона, написав его на отрывном календаре.

– Мой запомнишь? – спросил он. – Он легкий: 785–785.

– Запомню.

Она вывела его на черный ход. Страшная мысль – «вывела навсегда». Ведь чудеса бывают только в цирке. И еще, может быть, в других странах, а не в этой, разнузданно ненавидящей всех и вся, позмеиную извивающейся в холуйстве и лизоблюдстве. О господи, за что? Спаси его, и сохрани, и, если можешь, верни его мне!

Они одновременно оказались на площадке – он, уже выходя с черного хода, и Соня, входившая с железной продавленной сеткой из лифта. За ней стояли два пьяных мужика, они держали зеленые ржавые спинки.

– Зачем это все? – спросила она дочь.

– Я не сказала тебе утром, что Семен уже переехал ко мне окончательно, и мы одну ночь уже спали через проход с Варькой. И если ты еще женщина, то должна это понять. Тем более у тебя появился драный козел, старый друг, – вся искривилась она, – еж твою двадцать. Не стыдно в твоём возрасте?

– Забирай свое железо назад, – сказала мать, не ожидая от самой себя этих слов. – Я его в дом не пущу.

– Еще как пустишь. – И Сонька ногой распахнула дверь в квартиру и скомандовала, как генерал на параде: «Вносите, мужики, и живо».

На третьей минуте Сонька была уже снова в лифте, махнув мужикам, чтобы те шли пешком, и, прижимая кнопку, объясняла матери суть вещей:

– Знаешь, какой рост у Варьки? Метр семьдесят. Голые пятки тридцать девятого размера свисают на «Ладе», то еще зрелище. А железка подлиннее будет. Повесишь на спинки, как ты умеешь, какой-нибудь тюлик-мюлик, спала же я на ней все детство, не сдохла. Тесно, говоришь? Мне тоже тесно. Семен – мужик мощный. Дохлую «Ладу» я меняю с соседкой на два слабеньких полуживых кресла. Ничего получается. Мой журнальный столик-трехножка еще постоит между ними. Накрою следы выварки салфеткой. Я все продумала. Буду тебе давать на Варьку, немного, но буду. Мы с Семеном затеяли одно дельце, может выгореть. Если разбогатеем, расширимся. Заберем Варьку и замуж ее выдадим. А ты кончай со стариками валандаться, я тебе это не позволю. Упеку в богадельню для слабоумных, ты меня знаешь, я зря не скажу. Я папина дочь и дедушкина внучка, во мне крепко мужское начало.

Она отпустила кнопку лифта и провалилась как исчадие ада. У матери все внутри смяклось, спеклось, склеилось. Она не могла раздвинуть плечи и шла к двери мелкими, дробными шажками. В коридоре через железную сетку кровати она увидела себя в зеркальце на стенке и закричала, сообразила захлопнуть дверь, чтобы не сбежались соседи. И только тогда смогла выдохнуть. Она в зеркале через решетку – получается тюрьма, безвыход. Сонька, суд и прокурор, только что зачитала ей приговор. Дело прошло быстро, без адвоката.

785—785. Что это за цифры в ее голове? Она оцарапалась о спинку кровати и вошла в комнату. Что здесь произошло? Откуда здесь пахнет счастьем? Откуда здесь другой воздух? Она не могла это вспомнить. В голове же громко и четко звучал приговор Соньки, стоящей в лифте. Она стала отпихивать его в грудь, этот приговор, она плевала в него, и била его ногами, и понимала, что именно такую ее дочь повяжет и отправит в богадельню. И тогда она головой кинулась в прошлое.

Там, где-то там, давно должно быть спасение от ужаса, в который она попала. Но прошлое было заторочено чем-то черным, похоронами мамы, папы, похоронами мужа, кладбищем и снова кладбищем. Потом вдруг оглушительно ударило в голову: Варя может прийти ночевать уже сегодня. Кровать она не оставит ни за что. Значит, ее нужно вынести немедленно на черную лестницу. Боже, куда делись эти замечательные пионеры ее детства, сборщики металлолома? Но на площадке ее тут же обругала соседка, что она захламливает черный ход, превращая его в помойку. «Я уберу потом, – виновато отвечала она, – мне только на сегодня». – «Так все говорят, где-то же вы хранили раньше этих чудовищ».

Слава богу, что никто не видел, как грохотала металлом Сонька в лифте, ну, что за балда. Ну кто сейчас спит на продавленных сетках кровати?!

И тут же они выстроились перед ней, все железные кровати ее детства. Высокие, на так называемых панцирных сетках, кровати отца и матери, а еще раньше кровать бабушки. Панцирная сетка была знаком достатка, она постанывала величественно, как какая-нибудь боярыня. Дети спали на низких плоских сетках. И если первые важно раскачивали лежащие тела, то плоские скрипели, как придавленные птицы. На них клались матрацы, в случае достатка в семье – два, но чаще один. Панцирная же сетка вождеделала перину. Ну, с чем сравнить это сегодня? Даже не сообразишь. Это уже потом пошли кровати деревянные, у тех, кто побогаче, а у тех, кто победнее, двуспальные диваны, что с сильным хлопком раздвигались и со скрипом сдвигались по утрам. А вот этот кроватный мезозой вернулся к ней, сволочь такая. И будет жить, сколько захочет – железу смерти нет, оно практически вечное.

В квартире зазвонил телефон. Бросив невынесенные спинки, она побежала в квартиру.

– Я на минутку, – строго говорила Соня, – у Варьки по шву разорвалась юбка, зашей. И еще вымой ей голову, неделю уже не мыла. Обязательно прополощи слабым уксусом, иначе потом не расчешешь. И гони своего кобеля, чтоб дитя этого срама не видело.

– У него своя квартира, не волнуйся.

– Тогда и дуй к нему, Варька уже большая, может и сама жить. – Сонька даже засмеялась. – Видишь, мать, не все так плохо, как кажется, зря я перла железки. С тебя, кстати, пятьдесят, это как раз половина за грузчиков. Если твой хахаль и вправду квартирный, то Варька обрадуется. У нее, между нами, уже мальчик есть.

Последнее почему-то дошло в первую очередь. Чтоб девочка жила одна? Она застонала и изо всей силы сорвала с шеи фальшивый жемчуг. Он тут же разбежался по полу, попробуй поймай, раз-раз – и уже ни одной бубочки не видно. Боже, как она его любила, это монисто. Так называла его бабушка и говорила, что оно живое, настоящее. Уже мама сказала: «Дурь. Жемчуг – вещь дорогая. Откуда она могла к нам залететь?»

Хотя... Живой-неживой осталось на совести бабушки, а вот та скорость, с какой он разбежался сейчас, убеждала: живой. И она нагнулась и стала лапать руками по полу. Она забыла, что люди уже не одну сотню лет как придумали очки.

И пока она хлопала ладонями, она снова вспомнила, что Варьке пятнадцать. Боже мой, ей было тогда ненамного больше. И все встало перед ней, как вчера... Они тогда сидели в тамбуре. Дверь оставила открытой проводница. «Вонища! Срут, суки, и не смывают». Так она объяснила открытые двери.

Они не слышали вонь. Их ноги болтались в воздухе, он держал ее за плечи, а вокруг было много цветов, простых, «нескверных». Поле пело сине-желто-зеленую песню, вверх изредка вырывались высокие солисты, лопуховая мурава-дурова с кудлатыми серыми головами. Было так красиво, что они стали целоваться, и тогда он сказал: «Давай спрыгнем и уйдем куда глаза глядят».

Она даже испугалась. Разве так можно?

– Нельзя, но очень хочется. Но если не думать... Слушай, давай не думать... Мы прыгаем и уходим. Мы никто, и звать нас никак. И мы будем любить друг друга на траве, и на земле, на берегу, и просто где придется. Разве это не счастье?

– Нет, – сказала она твердо. – Так нельзя. Так люди не живут.

– Правильно, – вмешалась проводница, – люди на подножках не живут. Вставайте, ребята, нашли место целования. Даже вонь им не

слышно. Вставайте, вставайте, через десять минут Таганрог, сегодня многие тут выходят.

Из ее купе вышли все, кроме нее. Вагон стал почти пустой. И пока проводница мыла титан, он притащил свой узелок к ней. И они закрыли двери.

Про те полчаса, что были до Ростова, надо бы сложить песню. Ей надо было выходить в Ростове, ему еще ехать до Ейска. Закрытая дверь спасала их от новых пассажиров. «Занимайте пустые места!» – кричала проводница. То ли она их берегла, то ли забыла в хлопотах, где пустые места, но в дверь к ним не стучали и чаю не предлагали.

Да и при чем тут мог быть чай, если у них и так все было? Лавка и поле нескверных цветов за окном, и было счастье, и был восторг, и он целовал ей пупок, спускаясь все ниже и ниже, а она ласкала его грудь, покрытую еще слабыми юношескими волосами. И ей почему-то так жалко было именно их, что она начинала их целовать снова и снова, и этому не было конца, но, увы, кончалось поле и уже дымился город, и расставание через несколько минут было похоже на смерть. Стали нервно договариваться и обмениваться адресами. Он студент московского журфака, у него будет практика по месту жительства в городе Прохладном. Он побудет дома, сходит в редакцию, напишет пару-тройку статей, приедет к ней в Ростов, побудет и вернется опять в Прохладный. Он способный, он напишет, что надо, по-быстрому. Когда он окончит второй курс, они поженятся. Если она не поступит в Москву («конечно, не поступлю, я четверочница с минусом»), то он переведется в Ростовский университет. Там нет журфака, но есть филология. Где она, там и он. И они снова искали руками друг друга, и их снова подымало в небо, а потом они летели вниз, известно куда, в нескверные цветы.

На станции они вцепились друг в друга до царапин, он едва успел вскочить на подножку, а проводница сказала: «Дурачки, любовь не доживает до смерти, она испаряется очень скоро, потом вспомните».

– Наша доживет! – кричал он сразу ей и проводнице до тех пор, пока другие поезда не закрыли их друг от друга. Но она все слышала и слышала его голос.

Но они не встретились. Они тогда вообразить не могли свое будущее, видимо, только проводница могла. У него в одночасье умер

отец, семья осталась без средств, накрылся университет, пришлось перевестись на заочный.

У нее поменялся адрес, улицу Тихую называли улицей Виктора Понедельника, ее письма его мать рвала в клочья – «не хватало мне проблем со взрослой девкой», – говорила она при этом. Одно письмо вдова все-таки вскрыла и была оскорблена наглой откровенностью какой-то соплюхи во время их горя. Остальное она рвала уже автоматически. «Что они знают о любви, эти идиоты, ты проживи с ним жизнь, схорони его, а потом сообрази, миленький он был, или сладенький, или говно собачье».

А она обижалась, что ей не пишут, плакала, очень, очень больная мама относилась это на свой счет. А потом мама умерла, и все покрылось мраком. Не было солнца, не было света, не было ничего.

Боже, когда же это было! К ней вот сегодня или завтра ворвется внучка, и первый ее крик будет: «Я на железках спать не буду, даже не думай». – «Конечно, не будешь, – ответит она. – Мы что-нибудь сообразим. Будешь спать на моем месте, а я на топчане в кухне. Я люблю свою кухню». – «Ты можешь на раскладушке в комнате», – скажет добренькая Варька. «Я не люблю подсматривать чужие сны», – засмеется она.

В хлопотах жизни и смерти он стал забывать девочку из поезда и даже подумал: может, ее и не было? Просто был фантастический сон. От кого-то он тогда услышал теорию «стакана воды», это в смысле перепихнуться на раз и забыть, так, утоление жажды.

И вот через столько лет оказалось: не прошло ничего.

Воскресенье, 27 сентября, утро

Но на следующий день дверь ему не открыли. Сонный девчачий голос прокричал, что бабушка ушла по делам. «Где у них тут дела?» – подумал он. Пришлось вернуться домой. Наперерез входу в квартиру стояли манатки сына. Крепко пахнущие мужскими носками, старым перегаром, сбрызнутым для тайности дурного духа «Тройным» одеколоном.

– Я, батя, пришел к тебе навеки поселиться, – сказал вахлатьый мужик в трусах в горошину. – Я ведь тут прописан или...

– Что так? – спросил батя, находясь еще под впечатлением детского голоса, пропевшего, что бабушка ушла по делам.

– Так вот так, – сказал громко сын, – и перетакивать не будем. Что я, у нее кусок хаты буду рвать? Я не таков. Не нажили мы с ней барахла, которое способно делиться. Не тот у нас товар, что в рост идет. Не те деньги, которые деньги. А вот ты у меня один и я у тебя один, чай, не поссоримся?

– Я не один, – ответил отец. И в первый раз почувствовал радость, но и тяжесть этих слов, которые сейчас определяли всю его судьбу. – У меня есть женщина, и она переедет сюда.

Как он засмеялся, сын. Ну, как бы заржал, у него даже шея изогнулась по-лошадиному – вверх башкой, и желтые плохо чищенные клыки лязгнули, будто держали железо.

– Значит, я, молодой и сильный мужик, но бабы у меня под рукой нет, а ты старик, уже плохо держащий соплю, имеешь бабу, без хаты, как я понимаю, но готов променять дитя родное на незнамо кого. Батя, я не дамся. Я тут прописан. Я по закону твой, так что приструни свою бабу. Неча хавальником щелкать на чужое.

– У нее есть квартира, – сказал отец. И правда эта была глупой, ибо имела цель не опорочить в глазах сына алчностью женщину, лучше которой нет на свете.

– Ну, тогда вообще нет темы. Она берет тебя к себе, а я остаюсь в родном очаге. Тебе помочь собраться?

– Ищи квартиру, – сказал отец. – Сообрази, сколько тебе лет. Гоже ли ставить отцу условия?

– Какие условия? – закричал сын. – У тебя баба, у нее хата, у меня ни бабы, ни хаты. Это же задача на раз и два.

– Временно там живет внучка, она большая и вздорная, бабушке с ней тяжело.

– А мать у внучки есть?

– Тут вся проблема. Она привела к себе мужчину, а там нет места на троих. Ты в этой истории единственно легко подъемная фигура, можешь снять квартиру, устроиться в общежитии. Ну, подумай головой, ты же молодой и крепкий.

– Итак, считаем, – сказал сын. – Три однокомнатки, так? Твоя, матери внучки и твоей бабы. А расселиться надо пятерым. Но почему именно я крайний? Есть какая-то родня, должна быть, во всяком случае, пристраивайте девчонку. Или все сироты убогие? Или кто-то должен по-быстрому умереть? Как я понимаю, или я, или внучка. Кинем на карты? Девичье горлышко такое хрупкое.

– Или ты с ума сошел, или ты идиот. Или сволочь. Или это у тебя такой юмор дебила? Ты должен уйти сейчас же. Делись с женой, у вас две комнаты.

– Я у них не прописан. И у нас двое детей. Их в колодец, так ты считаешь? Мне некуда идти, отец, я буду спать на кухне. Раскачивайте мебель в комнате с полным сознанием моей щедрости. Спать на кухне, конечно, придется поперек, я гипотенузный мужик, а не какой-нибудь катетный. Какое-то время стерплю. А там, как говорится, или нож ступится, или петух сдохнет. Сговорились?

– Я не могу отвечать, не поговорив с ней.

– Ну, валяй. Где ж ты ее, батя, надыбал? Раньше за тобой такое не числилось.

– Будешь смеяться. Это моя первая любовь. На долгое время жизни мы потерялись, а тут раз – и нашлись. В аптеке.

Ему так хотелось рассказать и историю с милицией, и как чудно называла она те цветы, что плыли мимо поезда, – нескверные, и про счастье, что они переехали в этот город, – но лицо сына было таким равнодушным, что он проглотил все слова.

– Ладно, я пойду. Ты все-таки думай, кухонный вариант на полу – это вариант не для интеллигентного инженера-химика.

– Батя, иди в задницу. Ненавижу слова «интеллигент», «культура» и «химия». И еще высокие нравственные отношения. Мне блевать с

них хочется. Так что лучше заткнись, отец. И иди уламывай свою краплю спать через стенку со здоровым, до баб охочим мужиком. Соблазняй ее, соблазняй. Все тетки суки.

– Не смей, – сказал отец голосом мальчика-подростка, увидевшего, как гоняется за драной кошкой их роскошный сибирский котяра, так и погибший под машиной из-за неподатливой самки.

Через три часа он снова стоял под дверью у Маши. За дверью было шумно, и возникло желание повернуть назад. Но дверь открылась, и выпорхнула девчонка, а за ней стояла распаленная женщина и как-то сгорбленно и боком выходила Маша. Она не видела мужчину, что-то искала в сумке, но вдруг выпрямилась и побледнела.

– Запомни, мужик, – это кричала Соня, – моя мать не для тебя! Ей, видишь, внучку воспитывать надо. Иди откуда взялся.

– Только присутствие вашей мамы сдерживает меня сказать, что я о вас думаю. Но впредь запомните: я не позволю вам этот хамский тон ни по отношению к себе, ни к вашей маме.

– А по ха не хо? – уже визжала Сонька.

Лицо матери было бледным сначала до синевы, потом оно стало сереть на глазах.

– Мать, скажи ему сама. Мол, на фиг он тебе нужен или что-нибудь поделикатнее.

На площадке сгустился и повис воздух отвращения и злобы. Только внучка испытывала чувство приятности: ведь это из-за нее скубутся взрослые.

Конечно, ей с бабушкой лучше. От нового мужа матери воняет рыбой. Так что правильно, что этого старого дядьку гонит мама в шею ради нее. У нее даже похолодело в сердце от удовольствия. А бабушка – старая шляпа. В таком возрасте и нате вам – кавалер. Фу! Даже стыдно. Ишь, как она взяла его под ручку. Только ничего у них не выйдет. На ее стороне мама, она им даст прикурить.

Они же шли быстро вниз, но до них долетали слова, что если еще раз этот старый козел окажется тут, то быть ему битым до красных соплей. И звонкий детский смех.

Воскресенье, 27 сентября, полдень

– Их бы соединить, – жалко сказал он.

– Кого? – не поняла Маша.

– Моего сыночка и твою дочь. Мой тоже орал, когда я сказал о тебе.

– О господи! – Она остановилась, прижав руку к сердцу. – Наше время кануло, Миша, и не вырастут на молодой траве...

– Нескверные цветы.

– Что за чушь ты говоришь?

– Забыла, – сказал он грустно. – Помнишь, мы долго-долго ехали, а вокруг было полно разных цветов. И ты назвала их нескверными, мол, в скверах и палисадниках таких не бывает.

– Господи, – сказала Маша, – мой дед покойник так любил разные несуразицы.

Они шли медленно, сердца их бились как оглашенные, пришлось сесть на лавочку возле кафе.

– Зайдем попьем чаю? – спросил он.

– Нет-нет! – почти закричала она. – Пойдем к реке, она меня успокаивает.

Ей вспомнился сон. Она сильная и плывет по реке. Она шла, тяжело опираясь на его руку. Он же просто умирал от счастья, придумывая им жизнь вдвоем. Без сволочей-детей и нахальных внушек. Странно, но мысли не казались ему крамольными. За спасение этой женщины он был готов на все. Они шли молча, и он считал, сколько может стоить домик на хуторе недалеко от города. Еще был вариант униженно попросить комнату в общежитии, хоть какую-нибудь. В конце концов, лишиться их вещей никто не вправе. У него есть вполне приличный палас, шкаф с книгами, спал он на раскладном диване. Но если она рядом, то все ничто. И он сжал ей руку на своем локте. Рука была ледяной.

– Миша, мы свое не прожили, но это не значит, что мы вправе лишать молодых. Соне всего тридцать три, она еще и родить может. Да и твой сын вполне может начать все сначала. Нам надо уступить.

– Никто у них ничего не отнимает. Я отхлопочу комнату в общежитии. Мне дадут. Поверь, я хороший журналист, у меня на заводах связи. А там, через время, глядишь, получим и полуторку. Маша, я столько тебя ждал и не отдам тебя ни за что.

– Ты думаешь, я способна оставить жить одну девчонку? В наше-то время. Забудь про общежитие, я их не брошу. Надо смириться. Будем встречаться, ходить в кино. Как молодые, у которых нет крыши над головой.

Они были уже на берегу реки, и ветер стал еще холоднее. Сама же река была красива необыкновенно. Крутые волны, набегая друг на друга, напоминали бегущее стадо больших животных. Их самих не видно, но спины их так мощны, так убедительны в своем беге. И эта животная сила воды вдруг всколыхнула ее сморщенное, больное сердце. Река сказала ей правду, ту, которая годилась этому комочку, что неровно стучало в груди. И она почувствовала счастье выхода. Они уже шли по мосту, и она засмеялась. Как он обрадовался!

– Поцелуй меня, – сказала она.

И это было счастье – поцелуй на мосту, как в кино, как в юности. И все для мужчины было ясно впереди: палас на полу и раздвижной диван. Это не страшно, что туалет в коридоре. С ней ему ничего не страшно.

Они дошли почти до середины. Мост, как бы сказали раньше, дышал на ладан, и ему хотелось ее увести.

– Давай вернемся, – сказал он. – Я все-таки боюсь, что ты простудишься.

– На том берегу хорошо коптят рыбку и продают пиво, этот мост ведет туда.

Он обрадовался ее живым желанием. Вот только холодный ветер. А она возьми и расстегни пальто.

– Застегнись, простудишься, – сказал он.

– Да что ты, мне жарко, – засмеялась она.

И ей действительно стало жарко, потому как она знала, как надо поступить, чтобы всем было хорошо. Она знала это место счастья. Мост тут чуть-чуть искривлялся, и здесь были слабые перила. Она остановилась и облокотилась на них.

– Смотри, – сказала она, – какой фасонистый лещ, мне такой недавно снился. И она сняла с его локтя свою руку и показала вниз. И

это был миг. Хилое перильце обломилось. Она не кричала, не махала руками, она уходила под воду плавно и даже красиво, будто река давно ждала ее и расступилась ей навстречу. Он прыгнул вниз, выталкивая из себя воздух. Он успел схватить ее за конец распластанного пальто. Странно, но оно было пустым. Его же ботинки были тяжелы, они тянули его вниз, он рванулся вверх, но ботинки увязли в каком-то давно промокшем в воде ящике. Он понял ее замысел и потерял ее из виду. «У них будут проблемы с нашими поисками», – четко сформулировала она свою последнюю мысль.

Но их никто не искал.